

# СИНАЙ

Мой друг, я был на горе Синай,  
на лучшей из середин.

Я видел Бога, мой друг, и знай,  
я видел, что он един.

Всходил Медведицы светлый лик:  
Мегрез, Алиот, Мицар.

Мой друг, я видел, что Он велик,  
но стар, бесконечно стар.

Мне стало страшно, мой друг, и я  
забился в кругу светил,  
как будто жаркие острия  
поблизости ощутил,  
как будто вдруг раскололся щит  
с фамильным моим гербом,  
как будто свод надо мной прошил  
багровым на голубом.

Мой друг, я понял, что мы одни,  
и некому нас спасти.

Что только нам по ночам огни  
и нам по ночам мосты.

Что только нам вдалеке очаг  
и нам вдалеке прибор.

Все сновиденья во всех ночах  
всего-то для нас с тобой!

Куда ни глянь и куда ни кинь  
монетку, простор деля,  
езде на жёлтом холсте пустынь  
мои и твои дела.

Повсюду наши вина и честь,  
наши гордость и боль.  
Грехи и подвиги тем, что есть,  
обязаны нам с тобой.

А это значит: не быть беде,  
пока река глубока,  
пока по тёмной её воде  
плывут на юг облака,  
и ветер, быстрый, как мышь в углу,  
сдувает пыль с пирамид,  
пока восходят в ночную мглу  
Мицар, Алькор, Алькаид.

\*\*\*

Этот памятный вечер последнего месяца лета  
появился внезапно из тени волшебного дня,  
и зелёная улица, ласковым солнцем согрета,  
не успев удивиться ему, окружала меня.

Был предсказан финал, но, не смея внимать предсказаньям,  
шли навстречу ему наугад, ничего не стыдясь,  
а закат разгорался, сквозь листья по каменным зданьям  
тут и там разметав вавилонскую древнюю вязь.

Шевелится листва, и резное её оригами  
всё отчетливей знаки рисует на каждой стене.  
Я в квартире чужой над твоими рыдаю следами,  
над печальной правдой, доселе неведомой мне.

Я теперь узнаю, что за боль неизбежна расплата,  
тем огромней, чем дольше больные платить не хотят,  
что и ты, никогда не любившая точки возврата,  
прозеваешь в неведеньи этот последний закат,

что конечен предел для всего — сомневаться не надо, —  
что однажды и я закричу, не желая скрывать:  
в опустевшей квартире, в остывшем музее распада  
мне плевать на тебя и на всю твою правду плевать.

Что угодно тверди о терпении — доводы шатки.  
Больно мне. Никогда, никогда мы не жили в раю.  
И стирает закат предсказания с каменной кладки,  
как финальные титры — ненужную правду твою.

\*\*\*

Уезжаю на юг. От воды, от земли, от камней,  
от безлюдных ристалищ, пустынных — навеки? До срока?  
За абстрактной кормой отгорят мириады огней,  
засияет вдали, как абстрактный фарватер, дорога.

Уезжаю на юг, в средостение тысячи книг,  
в акваторию снов, в мифологию греков и скифов,  
понимая одно: нет мне хода на тот материк,  
где скитался героем собою придуманных мифов.

Так однажды, быть может, от войска отставший солдат  
пробирався домой, не ища ни сражений, ни славы...  
Но ночные холмы ледяными глазами глядят  
и грохочут колёса вдоль насыпи у Балаклавы.

Мне закрыта дорога. Равно — в октябре, феврале,  
разумеется, в августе, то же — в июне, июле.  
Так не станут встречать на абстрактном моём корабле,  
тех, кто гибли и лишь по случайности не утонули.

Так сжигают верёвку и пепел сметают в кусты:  
хочешь жить беззаботно — с чужою бедой не соседствуй.  
Хочешь жить — понимай, что причины иной суеты  
что ни день норвят угнездиться в руинах последствий.

Сожалей о прошедшем. А впрочем, кричи, не кричи, —  
над кизилowym садом взорвать не сумеешь колосса...  
В Севастополе спят, и никто не встречает в Керчи,  
но мигают холмы и грохочут, грохочут колёса.

## ВЕРСИЯ

Вдалеке появляется парус белее белого,  
и толпа ему салютует боем сердец.  
Вот сейчас он сойдёт и скажет: «Я одолел его!  
Я одолел его, слышишь, отец?»

И уже приближается так, что возможно вглядываться,  
утомлённый взор к бортам его устремив,  
и уже, безусловно, можно начать догадываться,  
ибо правда всегда намного страшней, чем миф.

А потом они сходят на берег, такие разные,  
салютуют толпе и обнимают родных,  
и толпа окружает их, и качает, празднуя,  
но Тесея нет, Тесея нет среди них.

И бросается царь к матросу, жалок и яростен,  
и матрос произносит, не глядя ему в глаза:  
«Вы велели нам возвращаться под чёрным парусом,  
но изорваны в клочья чёрные паруса...»

И Эгей отворачивается. Идёт к обрыву. Румяное,  
позади опускается солнце, а перед ним  
расстилается море, тёмное, безымянное,  
равнодушный и безжалостный аноним.

\*\*\*

Это время себя исчерпало,  
истрепало до дыр.  
Я б добавил огня и металла,  
да не выдержит мир.

Содрогнутся просторные своды,  
зеркала задрожат.  
Обещанием новой свободы  
в сердце сумрак зажат.

Дай мне новое, вольное, злое,  
дай мне время — моё.  
Никакого культурного слоя —  
одичанье, зверьё.

Дай мне сырость и холод пещерный,  
дай мне кровь на скуле.  
Пусть колышется отблеск неверный  
на соседней скале.

Я считаю, так будет честнее,  
чем поститься и пить,  
ибо всё, что мы сделали с нею,  
невозможно простить —

с нашей жизнью, продетой в петлицу  
козырного туза,  
так забавно умеющей длиться  
даже там, где нельзя.

Но в пещере, где холод и сумрак  
подступают ко мне,  
дай мне право на первый рисунок  
на шершавой стене.

\*\*\*

Я вижу пейзаж из абстрактных руин,  
неведомы место и век.  
На фоне заката стоит бедуин,  
в верблюжьем плаще человек.

Завидна его кочевая стезя,  
плащ тонок, изящен покроей.  
Но в гордую душу проникнуть нельзя,  
укрытую тёмной корой.

Я вижу — и с каждой секундой ясней,  
настолько прозрачна среда, —  
он входит в пустыню, скрывается в ней,  
сливается с ней без следа.

А я остаюсь. И абстрактный пейзаж  
становится словно родным  
и молвит: «Последнюю флягу отдашь,  
чтоб снова увидеться с ним».

К чему? Он всего лишь фрагмент миража,  
не знаю о нём ничего.  
Но память мою разъедает, дрожа,  
расплывчатый образ его.

И я бы, конечно, скопил на билет,  
увидел бы эти места.  
Но как мне собраться, ведь адреса нет,  
а вдруг и эпоха не та...

Вот так, проходя вдоль осенней Невы  
ленивой походкой хлыща,  
я вдруг ощущаю: фасады и львы  
изводят меня сообща.

И, кажется, лучше скопить на билет,  
в иные сбежать пояса.  
Но трудно: плаща, к сожалению, нет.  
И, главное, есть адреса.

\*\*\*

Всё оказалось не тем, чем казалось вначале.  
Помню тот вечер, когда небосвод омрачали  
лишь одинокие розовые облака.  
Мне не спалось. Бесконечное, тикало время.  
Вдруг оказалось, что ночь не смыкается. Темень  
не наступает в июне. И даль далека.

После я думал, что только у нас и в Канаде  
встретишь берёзы. И песню с обложки тетради  
переложить невозможно на новый мотив.  
Вышел наружу — и сразу развеялось это:  
то ли не все уместились у песни куплеты,  
то ли берёзы растут, никого не спросив.

Так продолжалось и дальше — оставим примеры —  
преображались миры, исчезали химеры,  
разума сон заменяла рассветная явь.  
Я не сказал бы, что делалось хуже, — напротив,  
но, предприятие веры моей обанкротив,  
что-нибудь мне, дорогая реальность, оставь!

Даже закон у того, кто не выплатил ссуду,  
не отбирает, к примеру, кота и посуду,  
стул и подушку, рубашку, часы и носки,  
книги на полке. Всецело распахнутый яви  
разве и самую малость присвоить не вправе?  
Это не роскошь, а средство спастись от тоски.

Да и чему доверять, если всё ненадёжно?  
Завтрашний день уверяет, что прежнее — ложно.  
Чашка разбита, усатый подлец — пятилап,  
главные книги — наивны, пятно на одежде..  
Лишь бесконечное время спокойно, как прежде,  
тиканьем нас приглашает на новый этап.

\*\*\*

Посеявший ветер пожимает плечами, говорит: «Не взошло».  
Мол, какое племя, такое и семя, что уж ругать посев.  
Мол, не всякое зло, а равно и злак, всегда порождает зло.  
Мол, о чём говорить, когда агроном с трактористом лежат, окосев.



В этом, собственно, есть не то чтобы корень, а так, росток, причина, что жизнь до сих пор возможна, пускай завывает всласть, опора бессмертия, обоснование, что не иссяк исток, пока тракторист с агрономом спяну думают: «Мы здесь власть».

Посеявший ветер идёт на рынок за новыми семенами, а я брожу по пустой меже, упрятавшись в капюшон. И дует в лицо не так уж и сильно, говоря между нами, и весь этот плач про грядущую бурю, честно сказать, смешон.

Потому что, сколько помню себя (а помню не так уж мало), кругом не ледяная пустыня, не прерия, не пески, а всё-таки поле, озеро, лес, заросли краснотала, и северо-западный чуть колышет редкие колоски.

## **КОТОР**

Тропа взбирается на склон среди развалин.  
Высоким солнцем опалён, пейзаж завялен.  
Дань черепице, катерам в зелёной ванне  
отдав, я движусь по ступеням Сан-Джованни.

Там золотой орёл парит на красном флаге.  
Там путник бережно хранит остаток влаги.  
Пылают маки, васильков прохладной сини  
не удержаться в их горящем керосине.

Но, чуть сбивается дыханье жарким склоном,  
я вспоминаю здесь о Ханье с Нафплионом —  
о, как изрезана причудливая карта  
моей утраченной Республики Сан-Марко!

О, лабиринты улиц узких! Лёгких кружев  
узор в кроватях, стульях, люстрах обнаружив,  
я жадно впитываю смесь тепла и света,  
как будто счастлив, будто песенка не спета!

О, эта жжёная сиена старых кровель,  
белья постиранного смена с ними вровень,  
как покровителей воинствующих смена!  
О, эти львы, со стен глядящие надменно!

Остановись, чтоб насладиться окоёмом,  
серо-оранжевым на синем и зелёном —  
судьбы утраченной пустая перспектива,  
наивно схваченная линзой объектива.

Там от Леванта до утёсов Гибралтара  
волна бы утлое судёнышко болтала  
и в этой гавани, укрытой от сирокко,  
вдруг приютила до назначенного срока.